

---

Алексей Шмелёв  
Санкт-Петербург

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ  
В ТВОРЧЕСТВЕ СОЛЖЕНИЦЫНА:  
НА ПУТИ К «КРАСНОМУ КОЛЕСУ»

*Жизнь и творчество Александра Солженицына:  
на пути к «Красному Колесу»: сборник статей / сост.  
Л.И. Сараскина. М. : Русский путь, 2013. С. 481–496*

В статье не будет рассматриваться языковое мастерство Александра Солженицына, а также воззрения Александра Солженицына на язык, эксплицитно высказанные в статьях и заметках. Речь пойдёт о лингвистических мотивах, которые буквально пронизывают художественное творчество Солженицына, отражаясь то в одном, то в другом произведении. Сюда относится непосредственное обсуждение персонажами и повествователем лингвистических проблем, а также проводимый в тексте произведений своего рода лингвистический эксперимент. Представляется, что лингвистический материал позволяет иллюстрировать некоторые общие принципы художественной манеры Солженицына. Сюда относятся, в частности, стремление к максимальной точности даже в мельчайших деталях, особое соотношение исторической правды и художественного вымысла, развитие некоторых важных мотивов в самых разных точках произведения и даже в разных произведениях, стремление употреблять слова в «исконных» значениях, очищенных от искажений, возникающих в результате ложного восприятия или сознательной пропагандистской лжи.

Особенно важную роль лингвистические мотивы играют для построения текста романа «В круге первом». В последующем изложении именно этому роману будет уделено основное внимание.

## 1. ЗАРОЖДЕНИЕ ФОНОСКОПИИ

Непосредственно связано с основной интригой романа описание зарождения новой науки — криминалистической фоноскопии. Это описание потребовало комментариев, которые, как легко можно убедиться, безупречно корректны с точки зрения фонетической науки и, пожалуй, могли бы использоваться в университетском вводном курсе фонетики. (Здесь можно провести аналогию с медицинскими замечаниями в «Раковом корпусе», которые также, по свидетельству специалистов, оставляют «чувство, что повесть написана дипломированным, знающим врачом»<sup>1</sup>. Такая аналогия неслучайна. Именно

медицина и язык постоянно оказываются объектом дилетантских рассуждений, беспомощных с точки зрения специалиста. Как писал сам Солженицын в письме, адресованном Татьяне Григорьевне Винокур, «о языке как о врачах и медицине, берётся судить каждый житель страны»<sup>2</sup>.)

Уже рассказ Ройтмана о *звуковидах*, адресованный Селивановскому, даёт вполне адекватное общее представление об устройстве спектрограмм (принятое в современной науке обозначение «звуковидов»):

«— На этих звуковидах речь развёртывается сразу в трёх измерениях: по частоте — поперёк ленты, по времени — вдоль ленты, по амплитуде — густотой рисунка»<sup>3</sup>.

Ещё показательнее рассуждения Рубина при чтении спектрограммы. Существенно, что Рубин также адресует Селивановскому и потому допускает некоторые неточности в целях упрощения (как мы помним, он читает фразу «Звуковиды разрешают глухим говорить по телефону», причём делает вид, что фраза ему неизвестна):

«— Вот видите, некоторые звуки не составляет ни малейшего труда отгадать, например, ударные гласные или сонорные. Во втором слове отчётливо видно — два раза “р”» (199).

Педант-фонетист сказал бы, что в третьем слове имеются два разных звука: твёрдый [р] и мягкий [р’]. Однако понятно, что заключённый-филолог, адресуясь к заместителю министра госбезопасности, пренебрегает деталями, тем более что на спектрограммах [р] и [р’] действительно различаются весьма незначительно. Рубин продолжает:

«В первом слове ударный звук “и” и перед ним смягчённый “в” — здесь твёрдого быть и не может. Ещё ранее — форманта “а”, но следует помнить, что в первом предударном слоге как “а” произносится так же и “о”. Зато “у” сохраняет своеобразие даже и вдали от ударения, у него вот здесь характерная полоска низкой частоты. Третий звук первого слова безусловно “у”. А за ним глухой взрывной, скорей всего “к”; итак имеем: “укови” или “укави”. А вот твёрдое “в”, оно заметно отличается от мягкого, нет в нём полоски свыше двух тысяч трёхсот герц. “Вукови...” Затем новый звонкий твёрдый взрывок, на конце же — редуцированный гласный, это я могу принять за “ды”. Итак, “вуковиды”. Остаётся разгадать первый звук, он смазан, я мог бы принять его за “с”, если бы смысл не подсказывал мне, что здесь — “з”. Итак, первое слово — “звуковиды”!» (там же).

Звуки [в] и [в’] действительно различаются на спектрограммах значительно больше, нежели [р] и [р’], так что здесь Рубин сразу же отмечает мягкость согласного перед [и] и далее возвращается к этому различию. В целом Рубин на понятном и простом языке, не вдаваясь в детали фонологической теории, формулирует фонетические законы, необходимые для успешной реконструкции прочтённой фразы: *в первом предударном слоге как «а» произносится так же и «о»; перед [и] твёрдого [согласного] быть и не может.*

Переходя ко второму слову, он просит *для понту* лупу, и из авторского комментария становится понятно, почему он позволяет себе говорить о двух «р», а не о твёрдом [р] и мягком [р']: говорится, что «<...> ВИР давал записи самые разляпистые <...>» (200), а при «разляпистой» записи [р] и [р'] действительно становятся плохо различимы.

Понятно, что точность в деталях фонетического анализа безразлична подавляющему большинству читателей. Однако для Солженицына в этом случае, как и во множестве других, существенна точность и аккуратность даже в мелочах, и в этом отношении эпизод чтения «звуквидов» весьма показателен.

## 2. СТАЛИН ПИШЕТ СТАТЬЮ О ЯЗЫКОЗНАНИИ

Важную роль для ряда сюжетных ходов романа играет знаменитая статья Сталина «Относительно марксизма в языкознании». Она дана в романе в процессе её написания, причём текст, который сочиняет Сталин, иногда несколько отличается от реального текста статьи, опубликованной в газете «Правда» и затем многократно растиражированной (в качестве составной части работы «Марксизм и вопросы языкознания»).

Изложение в романе истории написания статьи, может показаться несколько неточным с точки зрения исторической правды. В самом деле, в романе говорится:

«В последней статье, доживя до того почтенного возраста и до того скептического состояния ума, когда начинаешь мало считаться с земным, Чикобава умудрился написать по видимости антимарксистскую ересь, что язык — никакая не *надстройка*, а просто себе язык, и что будто бы существует язык не буржуазный и не пролетарский, а просто национальный язык. И открыто осмелился посягнуть на имя самого Марра.

<...> Несколько лингвистов-марксистов-марристов обрушились на наглеца с обвинениями, после которых тому оставалось только ожидать ночного стука МГБ. Уже намекнуто было, что Чикобава — агент американского империализма.

И ничто не спасло бы Чикобаву, если бы Сталин не снял трубку и не оставил его жить. Его он оставил жить, а простеньким провинциальным мыслям Чикобавы решил дать бессмертное изложение и гениальное развитие» (128).

Нас не должно удивлять именование возраста Чикобавы «почтенным», «когда начинаешь мало считаться с земным» (на самом деле в декабре 1949-го ему был 51 год). В произведениях Солженицына мало действующих лиц старше пятидесяти лет. Но изложение событий в романе не вполне точно передаёт реальную историю. На самом деле Чикобава пользовался покровительством первого секретаря ЦК Коммунистической партии Грузии К. Чарквиани, при посредстве которого ему удалось в апреле 1949 года, когда кампания травли

против Чикобавы была в разгаре, передать Сталину письмо о положении дел в советском языкознании<sup>4</sup>.

Сейчас едва ли можно узнать, была ли это собственная идея Чарквиани, придумавшего, как помочь Чикобаве, или, что более вероятно, он выполнял директиву Сталина (с последней версией вполне согласуется изложение событий в романе Солженицына: *Сталин... снял трубку и... оставил его жить... а простеньким провинциальным мыслям Чикобавы решил дать бессмертное изложение и гениальное развитие*). Существенно, что через год, в начале апреля 1950-го, Чикобаве передали, что он должен ехать в Москву, где он и был принят Сталиным на даче. Сталин поощрил его написать статью по вопросам языкознания для газеты «Правда», сам читал и правил эту статью, а также консультировался с Чикобавой по некоторым вопросам языкознания. В мае 1950 года статьёй Чикобавы была открыта дискуссия по вопросам языкознания; при этом статья содержала резкую критику «нового учения о языке» акад. Марра (в частности, учения о классовом характере языка), однако «антимарксистской ереси» касательно того, что «язык — никакая не *надстройка*, а просто себе язык», в ней не было (более того, в этой статье Чикобава как будто признавал надстроечный характер языка). После этого каждые две недели в рамках данной дискуссии в газете «Правда» печатались по две статьи: обычно одна с марристских и одна с антимарристских позиций. Наконец, 20 июня в газете появилась статья Сталина «Относительно марксизма в языкознании» (наряду с ней была опубликована статья проф. Черных, которая уже никого особенно не интересовала), после чего стало ясно: дискуссию можно закрывать (она ещё немного продолжилась по инерции). Любопытно, что статья Сталина была шагом в сторону здравого смысла, поскольку в ней отвергались два наиболее абсурдных догмата «марксистского языкознания» в версии Марра: положение о языке как «надстройке» и тезис о классовости языка. Кроме того, в статье были слова, призывающие к свободе научной дискуссии, что никак не соответствовало атмосфере научной жизни в сталинском Советском Союзе: «Общепризнано, что никакая наука не может развиваться и преуспевать без борьбы мнений, без свободы критики. Но это общепризнанное правило игнорировалось и попиралось самым бесцеремонным образом... Аракчеевский режим, созданный в языкознании, культивирует безответственность и поощряет такие бесчинства». После этого травля лингвистов, не признавших «новое учение о языке», прекратилась (а некоторые из них заняли ключевые позиции в руководстве советским языкознанием), но примечательно, что из марристов никто не подвергся репрессиям (они лишь лишились руководящих постов).

Бессмысленно гадать о причинах, побудивших Сталина принять решение об открытии дискуссии по вопросам языкознания в главной советской газете и о собственном участии в ней. Версия, соответствующая описанию, данному в романе «В круге первом», и связывающая это решение с желанием

вождя «внести свой блистающий вклад в какую-нибудь ещё из наук» (127), представляется вполне правдоподобной. (Более того, вполне вероятно, что к написанию статьи Сталин приступил именно в конце декабря 1949 года. По крайней мере, по воспоминаниям Н.Т. Федоренко, переводчика на переговорах Сталина с Мао Цзэдуном в декабре 1949 – феврале 1950-го, вождь был настолько занят в это время проблемами языка и мышления, что говорил о них даже с китайским собеседником<sup>5</sup>.) Однако представляет интерес художественный смысл включения данной истории в роман. Конечно, то, что Сталин принимается за написание своей статьи именно в ту ночь (на воскресенье, 25 декабря 1949 года), когда завязывается и переплетается большинство сюжетных линий романа, является художественным вымыслом, непосредственные функции которого вполне очевидны. Это даёт возможность почти через двести страниц при описании планов Рубина на воскресный вечер сказать, что Рубин, который «трудился над грандиозной, в духе Энгельса и Марра, работой по выводу всех слов всех языков из понятий “рука” и “ручной труд”», даже «не подозревал, что в минувшую ночь Корифей Языкознания занёс над Марром резак <...>» (318). Тем самым сталинская статья отзывается эхом в событиях, происходящих на шарашке (сюда относится не только интерес Рубина к лингвистической проблематике и его упражнения в духе марровского «нового учения о языке», но также спор Рубина и Сологодина о диалектике, лекция о диалектическом материализме в главе 88 («Передовое мировоззрение») и др.).

В скобках можно заметить, что переклички между эпизодами, которые на первый взгляд не связаны между собой, вообще характерны для построения романа «В круге первом». Так, в самом начале романа в главе 6 («Мирный быт») Нержин как будто в шутку рассказывает Рубину:

«— На Калужской заставе, дом МВД, полукруглый, с башней. На постройке его в сорок пятом году был наш лагерь, и там я работал учеником паркетчика. Сегодня узнаю, что Ройтман, оказывается, живёт в этом самом доме. И меня стала терзать, ну, просто добросовестность создателя или, если хочешь, вопрос престижа: скрипят там мои полы или не скрипят? Ведь если скрипят — значит, халтурная настилка? И я бессилён исправить!» (26–27).

Этот разговор отзывается в главе 43 («Женщина мыла лестницу») в рассказе о вселении семьи прокурора в новую квартиру как раз в этом доме:

«Квартира понравилась. Мачеха Клары дала прорабу указания по доделкам и особенно была недовольна, что паркет в одной комнате скрипит» (246).

Чтобы выявить художественный смысл включения статьи Сталина и неявных отсылок к ней в других эпизодах, полезно обратиться к тому, как представлен в романе процесс написания статьи, а также сопоставить получающийся при этом текст статьи с реальным текстом, опубликованным 20 июня 1950 года в газете «Правда».

Размышления Сталина в процессе писания статьи, как они представлены в романе, ясно показывают побудительные мотивы предпринятой в статье

некоторой ревизии марксистского учения и возврат к здравому смыслу. Видно, что Сталин ориентируется на здравый смысл и одновременно несколько опасается выводов, которые здравый смысл диктует, поскольку эти выводы слишком противоречат марксистским постулатам. Вот он приступает к написанию статьи:

«Это можно будет ярко, выразительно написать (он уже сидел и писал): “Какой бы язык советских наций мы ни взяли — русский, украинский, белорусский, узбекский, казахский, грузинский, армянский, эстонский, латвийский, литовский, молдавский, татарский, азербайджанский, башкирский, туркменский... — (вот чёрт, с годами ему всё трудней останавливаться в перечислениях. Но надо ли? Так лучше в голову входит читателю, ему и возражать не хочется), — каждому ясно, что...” Ну, и там что-нибудь, что каждому ясно.

А что ясно? Ничего не ясно...» (128).

Длинное перечисление могло бы показаться неправдоподобным даже для Сталина, но текст в «Правде» ещё более разжёвывает вполне очевидную, хотя и плохо укладывающуюся в марксистскую догматику мысль:

«Ни для кого не составляет тайну тот факт, что русский язык так же хорошо обслуживал русский капитализм и русскую буржуазную культуру до Октябрьского переворота, как он обслуживает ныне социалистический строй и социалистическую культуру русского общества.

То же самое нужно сказать об украинском, белорусском, узбекском, казахском, грузинском, армянском, эстонском, латвийском, литовском, молдавском, татарском, азербайджанском, башкирском, туркменском и других языках советских наций, которые так же хорошо обслуживали старый буржуазный строй, как обслуживают они новый, социалистический строй».

Иногда Сталин всё же не решается на слишком радикальную ревизию марксистского учения:

«Ну, можно будет вот так, поосторожнее: “В этом отношении язык, принципиально отличаясь от надстройки, не отличается, однако, от орудий производства, скажем от машин, которые так же безразличны к классам, как язык”.

“Безразличны к классам”! Тоже ведь раньше, бывало, не скажешь...» (129).

Текст в «Правде» ещё менее радикален; он не содержит пугающего марксистских догматиков выражения *безразличны к классам*:

«В этом отношении язык, принципиально отличаясь от надстройки, не отличается, однако, от орудий производства, скажем от машин, которые так же одинаково могут обслуживать и капиталистический строй и социалистический».

Помимо тщеславного желания «внести свой блистающий вклад в какую-нибудь ещё из наук», в романе представлены и другие мотивы написания сталинской статьи. Это стремление проявлять полноту власти и страх перед малейшими намёками на возможность революционного взрыва.

Стремление к постоянному проявлению всей полноты власти чрезвычайно характерно для Сталина. Поэтому и думает он, что вряд ли есть Бог: «Потому что слишком уж тогда благодушный, ленивый какой-то. Такую власть иметь — и всё терпеть? и ни разу в земные дела не вмешаться — ну, как это возможно?..» (124). Именно в контексте стремления к проявлению полноты власти становится понятным отказ от марксистского догматизма и возврат к здравому смыслу в сталинской статье. Вспомним, как Сталин мысленно поправляет Бухарина:

«Хвастался как-то Бухарин, что некий мудрец вывел: “низшие умы более способны в управлении”. Дал ты маху, Николай Иванович, вместе со своим мудрецом: не низшие — *здравые*. Здравые умы» (105).

Внезапная смена курса и урезонивание слишком активных исполнителей прежнего курса тоже могут быть проявлением полноты власти, даже если внешне это походит на либерализацию. В романе иронически передаются мысли Сталина по этому поводу:

«Как это случилось, что в языкознании — аракчеевский режим? Никто не смеет слова сказать против Марра. Странные люди! Робкие люди! Учишь их, учишь демократии, разжуёшь им, в рот положишь — не берут!

Всё — самому, и тут — самому...» (130).

Таким образом, даже если в какой-то области будет допущена относительная демократия и свобода научной дискуссии, это может произойти только по воле и под контролем Сталина.

Но в качестве главного мотива ревизии марксистской догматики в сталинской статье представлено желание не допустить даже самой мысли о возможности революции в Советском Союзе (а потому вообще не поощрять упоминание революций и революционных взрывов). По поводу высказывания Лафарга о «внезапной языковой революции между 1789 и 1794 годами» Сталин приходит к выводу: «Кончать надо все эти разговорчики о революциях!» (130). А засыпая после написания важных положений для будущей статьи о языкознании, он думает: «Не нужно больше никаких революций! Сзади, сзади все революции! Впереди — ни одной!» (132).

Он даже готов отвергнуть ключевое положение марксизма о переходе от старого качества к новому посредством взрыва, хотя все же не решается сделать это излишне категорически:

«Вообще нужно сказать к сведению товарищей, увлекающихся взрывами, что закон перехода от старого качества к новому качеству путём взрыва неприменим не только к истории развития языка, — он редко применим и к другим общественным явлениям».

<...>

“Редко”?.. Нет, пока ещё так нельзя.

Сталин перечеркнул “редко” и написал: “не всегда”» (130, 131).

Заметим, что текст, получившийся в результате такой правки, в точности совпадает с текстом, опубликованным в газете «Правда» (только последнее со-

четание: к другим общественным явлениям — дополнено: к другим общественным явлениям базисного или надстроечного порядка).

Далее Сталин хочет привести пример (в скобках даны его мысли, возникающие в процессе писания):

«Мы перешли от буржуазного индивидуально-крестьянского строя (новый термин получился, и хороший термин!) к социалистическому колхозному».

И, поставив, как все люди, точку, он подумал и дописал: «строю». Это был его любимый стиль: ещё один удар по уже забитому гвоздю. С повторением всех слов любая фраза воспринималась им как-то понятнее. Увлечённое перо писало дальше:

«Однако этот переворот совершился не путём взрыва, то есть не путём свержения существующей власти (надо, чтоб это место агитаторы особенно разъясняли!) — и создания новой власти...» — (об этом чтоб и мысли не было!!).

<...> Но пора назвать вещи своими именами:

«А удалось это совершить потому, что это была революция *сверху*, что переворот был совершён по инициативе существующей власти...»

Стоп, это получилось нехорошо. Так выходит, что инициатива коллективизации шла не от крестьян?..» (131).

Если обратиться к реальному тексту статьи, можно видеть, как разрешена коллизия, возникшая в сознании романного Сталина. Последняя фраза в публикации «Правды» заканчивается так: «...переворот был совершён по инициативе существующей власти при поддержке основных масс крестьянства».

Как уже говорилось, мысли Сталина при написании статьи и выбранные для цитирования в романе отрывки эхом отражаются в целом ряде эпизодов и сюжетных ходов романа. Остановлюсь лишь на одной из таких переключек. В отличие от Сталина, который готов цинично видоизменять и даже частично отменять «законы» марксистской диалектики, Сологдин, как это следует из его спора с Рубиным вечером в воскресенье (398–404), всерьёз думает над ними. Он сообщает, что признал «отрицание отрицания» (впрочем, этот «закон» впервые был сформулирован не Марксом, а Гегелем), и иллюстрирует его на простом примере. Но в дальнейшем выясняется, что его собственные жизненные решения могут служить ещё более яркой иллюстрацией данного «закона». Создав шифратор, столь необходимый начальству, Сологдин принимает решение: «<...> не давать им шифратора!» (428), и это можно рассматривать как отрицание своего изобретения (он даже уничтожает чертёж шифратора). Однако в дальнейшем в разговоре с Яконовым он соглашается восстановить чертёж, оговаривая выгодные для себя условия, и выясняется, что такой поворот он и имел в виду при уничтожении чертежа (477–482), и это уже «отрицание отрицания».

### 3. СУДЬБА ЗАИМСТВОВАННЫХ СЛОВ

Как мы помним, Сологдин избегает употребления иноязычных заимствований, которые называет *птичьими словами*: вместо *математик* говорит «исчислитель», вместо *капитализм* — «толстосумство», вместо *марксизм* — «сатанинский дурман». Такой способ выражения, очищенный от иноязычных заимствований, он называет Языком Предельной Ясности. Стремление Сологдина к «языку предельной ясности» можно считать стихийным лингвистическим экспериментом на тему синонимического перефразирования.

Могло бы показаться, что в стремлении избегать иноязычных заимствований Сологдин следует Владимиру Далю, словарь которого играет особую роль в лингвистических мотивах романа. Но как раз Сологдин Даля вовсе не упоминает (в отличие, скажем, от Рубина и Нержина, у которого словарь Даля был в своё время отобран, а затем возвращён ему), и очевидно, что его эксперимент представляет собой не более чем интеллектуальную игру, в чём он сам и признаётся (426).

Совсем иное отношение к иноязычным заимствованиям мы видим у автора (кстати, Солженицын в течение продолжительного времени как раз внимательно изучал словарь Даля). Конечно, Солженицын также избегает употребления заимствований, когда такое употребление представляется неоправданным и только затемняет смысл. Но ключевым для его творчества оказывается стремление употреблять слово в соответствии с его исходным, «истинным» значением, если оно было искажено в интересах пропаганды вследствие межкультурного непонимания или по какой-либо иной причине.

Так, в Толковом словаре под редакцией Д.Н. Ушакова, составленном более чем за десять лет до начала кампании «борьбы с космополитизмом», слова *космополит* и *космополитизм* толкуются вполне нейтрально: *космополит* — это «человек, не считающий себя принадлежащим к какой бы то ни было национальности, собств. признающий весь мир своим отечеством», а *космополитизм* — «взгляды, убеждения космополита»<sup>6</sup>. А в советских словарях, вышедших после кампании «борьбы с космополитизмом» (например, в 9-м издании «Словаря русского языка» Ожегова, который вышел спустя более двух десятков лет после этой кампании), в основе толкования слова *космополитизм* лежит советская идеологема: «Реакционное буржуазное идеологическое течение, к-рое под прикрытием лозунгов “мирового государства” и “мирового гражданства” отвергает право наций на самостоятельное существование и государственную независимость, национальные традиции и национальную культуру, патриотизм» (а *космополит* толкуется как «последователь, сторонник космополитизма»)<sup>7</sup>.

Герои романа «В круге первом» стремятся употреблять слово *космополит* в соответствии с исходным значением. Показателен диалог Рубина и Нержина, в котором и Рубин, и Нержин сходятся на том, что они *космополиты* (и само слово «звучит бескровно, чисто»):

«— Слушай, Глебка, в конце концов, ведь я — еврей не больше, чем русский? И не больше русский, чем гражданин мира?

— Хорошо ты сказал. Граждане мира! — это звучит бескровно, чисто.

— То есть космополиты. Нас правильно посадили» (24).

Однако прежнее употребление слова *космополит* в положительном или даже просто нейтральном смысле уже невозможно на *воле*. Показательная история из разговора девушек в общежитии в главе 50 («Старая дева»):

«— ...на литфаке одна защищала диссертацию о Цвейге четыре года назад, уже доцентствует давно. Вдруг обнаружили у неё в диссертации три раза, что “Цвейг — космополит” и что диссертантка это одобряет. Так её вызвали в ВАК и отобрали диплом» (302).

А поскольку кампания «борьбы с космополитизмом» носила отчётливо антисемитский характер, Адам Ройтман, также помнящий исходное значение этого слова, мысленно терзается по поводу его искажённого пропагандистского употребления:

«Это началось ещё прошлой весной, началось сперва в театральной критике и выглядело как невинная расшифровка еврейских фамилий в скобках. Потом переползло в литературу. В одной газетке-сплетнице, газетёнке-пота-скухе, занятой чем угодно, кроме своего прямого дела — литературы, кто-то шепнул ядовитое словцо — *космополит*. И слово было найдено! Прекрасное гордое слово, объединявшее мир, слово, которым венчали гениев самой широкой души — Данте, Гёте, Байрона, — это слово в газетёнке слиняло, сморщилось, зашипело и стало значить — *жид*» (441).

Но стремление употреблять заимствования в соответствии с исходным значением, очищая их от искажений, возникает не только тогда, когда искажения обусловлены потребностями пропаганды. Солженицын восстанавливает исходное значение слова и тогда, когда семантический сдвиг вызван межкультурным непониманием. Так, в польском языке есть слово, обозначающее одну из важнейших ценностей польской культуры (и, соответственно, польской языковой картины мира), — *honor* (не вполне точный перевод — «честь»). Оно предполагает жертвенность и чувство собственного достоинства, не позволяющее унижаться и отступать от собственных принципов ради выгоды или избавления от опасностей. Однако в русском восприятии поведение, вытекающее из такой установки, очень часто представало как высокомерие, надменность, отсутствие подлинного смирения, и это связывалось со стереотипом *кичливого ляха*. Соответственно, в русском языке это слово, заимствованное в виде *гонор*, вошло в ряд таких отрицательно окрашенных слов, как *спесь*, *кичливость*, *самоуверенность*, *самонадеянность*, *самомнение* и т.д.<sup>8</sup>, и проявление *гонора* никак не одобряется. С восстановлением «истинного значения» польского слова и стоящей за ним культурной ценности мы сталкиваемся в эпизоде из киносценария Александра Солженицына «Знают истину танки»<sup>9</sup> — когда восстание заключённых давят при помощи танков, один лишь поляк Гавронский не теряет достоинства:

«= Бьют, как попало, над головами! над самыми головами!! И кричат остервенело сами же:

— На землю!.. Ложи-ись!.. Все ложись!..

= Как ветер кладёт хлеба — так положило волной заключённых. В пыль! на дорогу! (может, и убило кого?) Все лежат!

Нет! Стоит один!

Пальба беспорядочная.

= Лежат ничком. Плашмя. И скорчась, С-213, жирнощёкий; смотрит зло из праха наверх — как продолжает стоять

Р-863, Гавронский. Вскинутая голова! Грудь, подставленная под расстрел! Гонор — это честь и долг!

С презрительной улыбкой он оглядывает стреляющий конвой [...].

Память об исходном смысле заимствованного слова характерна для творчества Солженицына не только в тех случаях, когда его искажение привело к появлению у слова отрицательного оценочного компонента значения. Показательна в этом отношении история слова *интересный* в русском языке и его употребление у Солженицына. В современном языке это слово обозначает нечто любопытное, пробуждающее желание узнать. Категория *интересного* для нас столь привычна, что кажется странным её отсутствие в традиционном (в частности, средневековом) миропонимании. Для её обозначения европейские языки выбрали слово, восходящее к латинскому глаголу *interesse* («иметь важное значение») и первоначально обозначавшее выгоду, пользу. Русский язык первоначально заимствовал слово *интерес* именно в значении «выгода, польза» (отсюда выражения *в чьих-либо интересах*, *играть на интерес*, «на деньги»), а затем, вслед за западными языками, перенёс заимствованное слово на новую категорию. Но Солженицын (и некоторые его персонажи) помнит о происхождении слова и, когда кто-то в качестве побудительного мотива сообщает, что ему интересно, склонен подозревать именно корыстный или карьерный интерес. О Яконове в романе говорится:

«Его жизнь кипела, работа была интересна и вела всё вверх и вверх» (141).

Отвергают этот мотив и его персонажи. Бобынин в разговоре с Герасимовичем признаётся:

«Да и потом это проклятое *интересно*, вот сейчас интересно... Я, конечно, презираю себя за это чувство...» (491).

И спустя некоторое время Герасимович отвечает:

«Мы на этих шарашках преподносим им реактивные двигатели! ракеты фау! секретную телефонию! и может быть атомную бомбу? — лишь бы только было нам хорошо? И *интересно*? Какая ж мы элита, если нас так легко купить?» (493).

Сходным образом рассуждает и Шулубин, возражая Вадиму, который объяснял свою увлечённость наукой, тем, что «ничего на свете интереснее» он не знает<sup>10</sup>:

«Это не аргумент — “интересно”. Коммерция тоже интересна. Делать деньги, считать их, заводить имущество, строиться, обставляться удобствами — это тоже всё интересно. При таком объяснении наука не возвышается над длинным рядом эгоистических и совершенно безнравственных занятий» (194).

Далее Шулубин разъясняет:

«Вот представьте: длинный низкий сарай. Тёмный, потому что окна — как щели, и закрыты сетками, чтоб куры не вылетали. На одну птичницу — две тысячи пятьсот кур. Пол земляной, а куры всё время роются, и в воздухе пыль такая, что противогаз надо бы надеть. Ещё — лежалую кильку она всё время запаривает в открытом котле — ну, и вонь. Подсменщицы нет. Рабочий день летом — с трёх утра и до сумерок. В тридцать лет она выглядит на пятьдесят. Как вы думаете, этой птичнице — *интересно?*» (там же).

Восстановление «истинного» смысла заимствованных слов использует и Сталин, но его рассуждение воспринимается скорее в пародийном ключе:

«В слове “император” ничего плохого нет, это значит — повелитель, начальник. Это ничуть не противоречит мировому коммунизму» (123).

Иногда восстановление «истинного» смысла используется и в отношении слов русского происхождения, как в ответе Грачикова на замечание Кнорозова (из рассказа «Для пользы дела») — «Не советский у тебя стиль»:

«Я — *советно* работаю, с народом я *советуюсь*»<sup>11</sup>.

Любопытно, впрочем, что в отношении слов русского происхождения Солженицын часто иронически использует искажённое восприятие их смысла, и это служит одним из знаков «чужой» точки зрения. Можно упомянуть категорию справедливого, которая, как известно, чрезвычайно важна для Солженицына и его персонажей. Но в прозе Солженицына нередко встречается ироническая отсылка к этой категории. Ограничусь двумя примерами из романа «В круге первом»:

«Костов!! — укололо Сталина. Бешенство бросилось ему в голову, он сильно ударил сапогом — в морду Трайчо, в окровавленную морду! — и серые веки Сталина вздрогнули от удовлетворённого чувства справедливости» (110); «Всё же некоторые человеческие слабости были присущи и Степанову, но в очень ограниченных размерах. Так, ему нравилось, когда высшее начальство хвалило его и когда рядовые партийцы восхищались его опытностью. Нравилось потому, что это было справедливо» (472).

#### 4. ВНИМАНИЕ К ЗНАЧЕНИЮ СЛОВА

Обилие метаязыковых рассуждений в прозе Солженицына издавна обращало на себя внимание. Напомню рассуждение о слове *добро* в «Матрёнинном дворе»:

«<...> д о б р о м нашим, народным или моим, странно называет язык имущество наше. И его-то терять считается перед людьми постыдно и глупо»<sup>12</sup>.

Сюда же относятся этюды о словах *изменники родины, острог, каторга* в «Архипелаге ГУЛАГ».

Многие мотивы, связанные со значением русских слов и их местом в русской языковой картине мира, отсылают к словарю Даля, который Солженицын, как известно, внимательно изучал. Словарь Даля упоминается в романе «В круге первом» в споре Рубина и Нержина об этимологии слова *счастье*:

«— Мудрая этимология в самом слове запечатлела преходящность и нереальность понятия. Слово “счастье” происходит от се-часье, то есть, этот час, это мгновение!

— Нет, магистр, простите! Читайте Владимира Даля. “Счастье” происходит от со-частье, то есть кому какая часть, какая доля досталась, кто какой пай урвал у жизни. Мудрая этимология даёт нам очень низменную трактовку счастья» (35–36).

Спор о счастье перерастает в размышления о счастье разных персонажей «Ракового корпуса» (Аси, Костоглотова, Шулубина); при этом «далевский» мотив незримо проступает через эти размышления.

Девушка Ася, ещё не знающая, что ей отрежут грудь, убеждает Дёму отказаться от ампутации ноги: «Лучше умереть, чем без ноги жить, что ты? Какая жизнь у калеки, что ты! Жизнь дана для счастья!» (69). Она фактически повторяет мысль Короленко: «Человек создан для счастья», которая стала частью советской идеологии (впрочем, у Короленко эту мысль высказывает как раз калека). В следующей главке с ней, сам того не зная, спорит Костоглотов:

«В конце концов, к чему сводится наша философия жизни? — “Ах, как хороша жизнь!.. Люблю тебя, жизнь! Жизнь дана для счастья!” Что за глубина! Но это может и без нас сказать любое животное — курица, кошка, собака» (73).

И совсем решительно опровергает идеологему *счастье будущих поколений* автор теории «нравственного социализма» — Шулубин из того же «Ракового корпуса»:

«— Так вот что такое нравственный социализм: не к счастью устремить людей, потому что это тоже идол рынка — “счастье”! — а ко взаимному расположению. Счастлив и зверь, грызущий добычу, а взаимно расположены могут быть только люди! И это — высшее, что доступно людям!

<...>

Счастье — это мираж! — из последних сил настаивал Шулубин. Он побледнел. — Я вот детей воспитывал — и был счастлив. А они мне в душу наплевали. А я для этого счастья книги с истиной — в печке жёг» (223–224).

Но, впрочем, далее из его тирады становится ясно, что и он видит в *счастье* цель устремлений человечества и каждого отдельного человека, только пути к достижению этого *счастья* он видит иные:

«А тем более ещё так называемое “счастье будущих поколений”. Кто его может выведать? Кто с этими будущими поколениями разговаривал — ка-

ким ещё идолам они будут поклоняться? Слишком менялось представление о счастье в веках, чтоб осмелиться подготавливать его заранее. Каблуками давя белые буханки и захлёбываясь молоком — мы совсем ещё не будем счастливы. А делясь недостающим — уже сегодня будем! Если только заботиться о “счастьи” да о размножении — мы бессмысленно заполним землю и создадим страшное общество...» (224).

В некоторых случаях для понимания произведения ключевую роль играет семантический ореол слова, совокупность его системных связей в языке. Так, восходящее к индоевропейским временам соположение *мира* и *воли*<sup>13</sup> трансформировалось в русской литературе в пушкинские формулы *покой и воля / вольность и покой* (служащие, как мы помним, заменой *счастью*) и в поэтическую формулу *покой и простор*, которая используется не только в стихотворении Николая Некрасова «Железная дорога», но и у других поэтов. Примечательно также, что слово *простор* используется в словаре Даля в толковании слова *свобода* (толкование начинается словами «Своя воля, простор, возможность действовать по-своему...») и повторяется в соответствующей словарной статье ещё несколько раз. Сходным образом используется слово *простор* и в романе «В круге первом» (название главы «На просторе», повторенное дважды нержинское восклицание *оставьте мне простору!*); в то же время появляются штрихи, свидетельствующие об обманчивости «простора» *просторных* помещений (*просторный* кабинет Абакумова и др.). *Просторы* и *просторные* помещения возникают на протяжении всего романа постоянно, когда обсуждаются темы свободы и несвободы. При решении темы *свободы* оказывается, что она почти несовместима ни с *волей*, ни с *покоем*. Обнаруживается, что *на воле* подлинной (внутренней) свободы быть не может; в частности, тюремщики сами несвободны:

«Свободу вы у меня давно отняли, а вернуть её не в ваших силах, ибо её нет у вас самих» (83).

Отсутствие свободы *на воле* связано с повсеместно господствующим страхом: человек боится лишиться свободы и сам себя её лишает. Здесь действует общий закон: пока человеку есть что терять, он не может чувствовать себя свободным. Зато в заключении он снова может обрести *свободу*, поскольку бояться ему больше нечего. Как говорит Нержин в разговоре с Герасимовичем:

«<...> только в тюрьме, а не на семейной *воле*, мужчина так свободен в мыслях, не связан в поступках и готов к жертвам! <...>» (549).

Поэтому свободный спор, «особенный тюремный лютый спор, каких не могло быть на воле с господствующим единым мнением власти» (420), оказывается возможным только в тюрьме. Как говорит Сологдин:

«Да на воле... — (глухо), — при наличии ЧеКа, кто с вами осмелится спорить? Когда же вы попадаете в тюрьму, вот сюда, — (звонко), — здесь вы встречаетесь с настоящими спорщиками! <...>» (398).

Неслучайно Хоробров, которому на воле было «не вперетерп», в лагерь «ехал с простодушной радостью, что хоть здесь-то будет говорить от души» (56, 57).

Но выясняется, что и в тюрьме, а особенно на привилегированной шарашке с её *просторными* залами и вестибюлями человеку есть что терять. А поскольку кругом стукачи, выясняется, что подлинной свободы нет и здесь. Отсюда недоумение, выраженное (правда, по другому поводу) Пряничковым: «Неужели и в тюрьме нет человеку свободы? Где ж она тогда есть?» (23).

Остаётся лишь надежда обрести *свободу* хотя бы в каторжном лагере, где терять будет уж точно нечего. Эта надежда жива и у Хороброва: «В каторжный так в каторжный, драть его вперегрёб, по крайней мере в весёлую компанию попаду. Может, хоть там свобода слова, стукачей нет» (175), и у Нержина: «<...> едуци в лагерь, Нержин и сам ощущал, что возвращается к важному элементу мужской свободы: каждое пятое слово ставить матерное» (604).

Здесь обнаруживается другая сторона упомянутого выше закона: да, пока человеку есть что терять, он не может чувствовать себя свободным, но, как говорит Бобынин: «<...> человек, у которого вы отобрали в с ё, — уже неподвластен вам, он снова свободен» (84).

Обращает на себя внимание скрытая перекличка с «Мастером и Маргаритой» (с эксплицитной отсылки к которому, как мы помним, начинается роман): Нержин, не принимая предложение Яконова, которое позволило бы ему остаться на шарашке, тем самым, в отличие от Мастера, отвергает *покой*, предпочитая *свободу*.

## 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Итак, мы видим, что некоторые общие принципы художественной манеры Солженицына становятся отчётливо видны при анализе лингвистического материала. Эти принципы, в разной мере характерные для различных произведений Солженицына, сохранили свою значимость и для «Красного Колеса». Однако обсуждение их на материале эпопеи должно составить тему отдельной работы.

### Примечания

<sup>1</sup> Дурнов Л.А. «Раковый корпус», прочитанный врачом // Вместе против рака. 1999. № 2. Режим доступа: <http://vsem-mirom.narod.ru/together/center/2nomer/12.htm#up>

<sup>2</sup> Письмо опубликовано, с разрешения А.И. Солженицына, в сборнике статей, посвящённых памяти Т.Г. Винокур: Поэтика. Стилистика. Язык и культура. М.: Наука, 1996. С. 309–311.

<sup>3</sup> Солженицын А.И. В круге первом. М.: Наука, 2006. С. 198. Далее цитируется это издание с указанием в скобках страниц; сохранена авторская орфография и пунктуация.

<sup>4</sup> Текст этого письма был опубликован в воспоминаниях Чикобава (см.: Чикобава А.С. Когда и как это было // Ежегодник иберийско-кавказского языкознания, XII. Тбилиси, 1985. С. 11–12).

<sup>5</sup> См.: Алпатов В.М. «Марксизм и вопросы языкознания» И.В. Сталина: Ответы на письма читателей // Культура и искусство. 2011. № 5.

<sup>6</sup> См.: Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д.Н. Ушакова. М.: Гос. ин-т «Советская энциклопедия»; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1935. Т. 1.

<sup>7</sup> См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Сов. энциклопедия, 1972.

<sup>8</sup> См.: Shmelev A. A Russian view of Western concepts // Understanding Russianness. L.; N.Y., 2012. Pp. 53–65.

<sup>9</sup> Цит. по тексту, который помещён на сайте, посвящённом А.И. Солженицыну. Режим доступа: <http://www.solzhenitsyn.ru/proizvedeniya/dramaturgiya>

<sup>10</sup> Повесть «Раковый корпус» цит. по тексту, который помещён на сайте, посвящённом А.И. Солженицыну. Режим доступа: [http://www.solzhenitsyn.ru/proizvedeniya/rakoviy\\_korpus](http://www.solzhenitsyn.ru/proizvedeniya/rakoviy_korpus)

<sup>11</sup> Солженицын А.И. Для пользы дела // Солженицын А.И. Собр. соч.: В 30 т. М.: Время, 2006. Т. 1. С. 230.

<sup>12</sup> Солженицын А.И. Матрёнин двор // Там же. С. 145.

<sup>13</sup> См.: Топоров В.Н. Об иранском элементе в русской духовной культуре, III. Мир и воля // Славянский и балканский фольклор. М.: Наука, 1989.